

Из Сибири. Антон Павлович Чехов [chekhovanton.ru](http://chekhovanton.ru)  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://chekhovanton.ru/> Приятного чтения!

Из Сибири. Антон Павлович Чехов

I

– Отчего у вас в Сибири так холодно?

– Богу так угодно! – отвечает возница.

Да, уже май, в России зеленеют леса и заливаются соловьи, на юге давно уже цветут акация и сирень, а здесь, по дороге от Тюмени до Томска, земля бурая, леса голые, на озерах матовый лед, на берегах и в оврагах лежит еще снег...

Зато никогда в жизни не видал я такого множества дичи. Я вижу, как дикие утки ходят по полю, как плавают они в лужах и придорожных канавах, как вспархивают почти у самого возка и лениво летят в березняк. Среди тишины вдруг раздается знакомый мелодический звук, глядишь вверх и видишь невысоко над головой пару журавлей, и почему-то становится грустно. Вот пролетели дикие гуси, пронеслась вереница белых как снег, красивых лебедей... Стонут всюду кулики, плачут чайки...

Обгоняем две кибитки и толпу мужиков и баб. Это переселенцы.

– Из какой губернии?

– Из Курской.

Позади всех плетется мужик, не похожий на других. У него бритый подбородок, седые усы и какой-то непонятный клапан позади на сермяге; под мышками две скрипки, завернутые в платки. Не нужно спрашивать, кто он и откуда у него эти скрипки. Непутевый, не степенный, хворый, чувствительный к холоду, неравнодушный к водочке, робкий, всю свою жизнь прожил он лишним, ненужным человеком сначала у отца, потом у брата. Его не отделяли, не женили... Нестоящий человек! На работе он зябнул, хмелел от двух рюмок, болтал зря и умел только играть на скрипке да возиться с ребятами на печке. Играл он и в кабаке, и на свадьбах, и в поле, и ах как играл! Но вот брат продал избу, скот и всё хозяйство и идет с семьей в далекую Сибирь. И бобыль тоже идет – деваться некуда. Берет он с собой и обе скрипки... А когда придет на место, станет он зябнуть от сибирского холода, зачахнет и умрет тихо, молча, так что никто не заметит, а его скрипки, заставлявшие когда-то родную деревню и веселиться и грустить, пойдут за двугривенный чужаку-писарю или ссыльному, ребята чужака оборвут струны, сломают кобылки, нальют в нутро воды... Вернись, дядя!

Переселенцев я видел еще, когда плыл на пароходе по Каме. Помнится мне мужик лет сорока с русой бородой; он сидит на скамье на пароходе; у ног его мешки с домашним скарбом, на мешках лежат дети в лапотках и жмутся от холодного, резкого ветра, дующего с пустынного берега Камы. Лицо его выражает: «Я уже смирился». В глазах ирония, но эта ирония устремлена вовнутрь, на свою душу, на всю прошедшую жизнь, которая так жестоко обманула.

– Хуже не будет! – говорит он и улыбается одной только верхней губой.

В ответ ему молчишь и ни о чем не спрашиваешь, но через минуту он повторяет:

– Хуже не будет!

– Будет хуже! – говорит с другой скамьи какой-то рыжий мужичонко-непереселенец с острым взглядом. – Будет хуже!

Эти, что плетутся теперь по дороге около своих кибиток, молчат. Лица серьезные, сосредоточенные... Я гляжу на них и думаю: порвать навсегда с жизнью, которая кажется ненормальной, пожертвовать для этого родным краем и родным гнездом может только необыкновенный человек, герой...

Затем, немного погодя, мы обгоняем этап. Звеня кандалами, идут по дороге 30–40 арестантов, по сторонам их солдаты с ружьями, а позади – две подводы. Один арестант похож на армянского священника, другого, высокого, с орлиным носом и с большим лбом, я как будто видел где-то в аптеке за прилавком, у третьего –

Из Сибири. Антон Павлович Чехов [chekhovanton.ru](http://chekhovanton.ru)

бледное, истощенное и серьезное лицо, как у монаха-постника. Не успеваешь оглядеть всех. Арестанты и солдаты выбились из сил: дорога плоха, нет мочи идти... До деревни, где они будут ночевать, осталось еще десять верст. А когда придут в деревню, наскоро закусят, напьются кирпичного чаю и тотчас же повалятся спать, и тотчас же их облепят клопы – злейший, непобедимый враг тех, кто изнемог и кому страстно хочется спать.

Вечером земля начинает промерзать и грязь обращается в кочки. Возок прыгает, грохочет и визжит на разные голоса. Холодно! Ни жилья, ни встречных... Ничто не шевелится в темном воздухе, не издает ни звука, и только слышно, как стучит возок о мерзлую землю да, когда закуливаешь папиросу, около дороги с шумом вспархивают разбуженные огнем две-три утки...

Подъезжаем к реке. Надо переправляться на ту сторону на пароме. На берегу ни души.

– Уплыли на ту сторону, язви их душу! – говорит возница. – Давай, ваше благородие, реветь.

Кричать от боли, плакать, звать на помощь, вообще звать – здесь значит реветь, и потому в Сибири ревут не только медведи, но и воробьи и мыши. «Попалась кошке – и ревет», – говорят про мышь.

Начинаем реветь. Река широкая, в потемках не видно того берега... От речной сырости стынут ноги, потом всё тело... Ревем мы полчаса, час, а парома всё нет. Надоедают скоро и вода, и звезды, которыми усыпано небо, и эта тяжелая, гробовая тишина. От скуки разговариваю я с дедом и узнаю от него, что женился он 16 лет, что у него было 18 детей, из которых умерло только трое, что у него живы еще отец и мать; отец и мать – «киржаки», то есть раскольники, не курят и за всю свою жизнь не видали ни одного города, кроме Ишима, а он, дед, как молодой человек, позволяет себе побаловаться – курить. Узнаю от него, что в этой темной, суровой реке водятся стерляди, нельмы, налимы, щуки, но что ловить их некому и нечем.

Но вот наконец слышится мерный плеск, и на реке показывается что-то неуклюжее, темное. Это паром. Он имеет вид небольшой баржи; на нем человек пять гребцов, и их два длинных весла с широкими лопастями похожи на рачьи клешни.

Пристав к берегу, гребцы первым делом начинают браниться. Бранятся они со злобой, без всякой причины, очевидно спросонок. Слушая их отборную ругань, можно подумать, что не только у моего возницы, у лошадей и у них самих, но и у воды, у парома и у весел есть матери. Самая мягкая и безобидная брань у гребцов – это «чтоб тебя уязвило» или «язвина тебе в рот!» Какая здесь желается язва, я не понял, хотя и расспрашивал. Я в полушубке, больших сапогах и в шапке; в потемках не видно, что я «ваше благородие», и один из гребцов кричит мне хриплым голосом:

– Эй ты, язва, что стоишь, рот разинул? Отпрягай пристяжную!

Въезжаем на паром. Перевозчики, бранясь, берутся за весла. Это не местные крестьяне, а ссыльные, присланные сюда по приговорам обществ за порочную жизнь. В деревне, где они приписаны, им не живется – скучно, пахать землю не умеют или отвыкли, да и не мила чужая земля, и пошли они сюда на перевоз. Лица у них испитые, истасканные, битые. А какие выражения на лицах! Видно, что эти люди, пока плыли сюда на арестантских баржах, скованные попарно наручниками, и пока шли этапом по тракту, ночуя в избах, где их тело невыносимо жгли клопы, одеревенели до мозга костей; а теперь, болтаясь день и ночь в холодной воде и не видя ничего, кроме голых берегов, навсегда утратили всё тепло, какое имели, и осталось у них в жизни только одно: водка, девка, девка, водка... На этом свете они уже не люди, а звери, и по мнению деда, моего возницы, и на том свете им будет худо: пойдут за грехи в ад.

II

Из большого села Абатского (375 верст от Тюмени), в ночь под 6-е мая, везет меня старик лет 60; незадолго перед тем, как запрягать, он парился в бане и ставил себе кровососные банки. Для чего банки? Говорит, что поясница болит. Он боек не по летам, подвижен, словоохотлив, но ходит нехорошо: кажется, у него спинная сухотка.

Из Сибири. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

Я сижу в высоком, некрытом тарантасике, везет пара. Старик помахивает кнутом и покрикивает, но уж не кричит по-прежнему, а только кряхтит или стонет, как египетский голубь.

По сторонам дороги и вдаль на горизонте змееобразные огни: это горит прошлогодняя трава, которую здесь нарочно поджигают. Она сыра и туго поддается огню, и потому огненные змеи ползут медленно, то разрываясь на части, то потухая, то опять вспыхивая. Огни искрятся, и над каждым из них белое облако дыма. Красиво, когда огонь вдруг охватит высокую траву: огненный столб вышиною в сажень поднимается над землей, бросит от себя к небу большой клуб дыма и тотчас же падает, точно проваливается сквозь землю. Еще красивее, когда змейки ползают в березняке; весь лес освещен насквозь, белые стволы отчетливо видны, тени от березок переливаются со световыми пятнами. Немножко жутко от такой иллюминации.

Навстречу, во весь дух, гремя по кочкам, несется почтовая тройка. Старик спешит свернуть вправо, и тотчас же мимо нас пролетает громадная, тяжелая почтовая телега, в которой сидит обратный ящик. Но вот слышится новый гром: несется навстречу другая тройка и тоже во весь дух. Мы торопимся свернуть вправо, но, к великому моему недоумению и страху, тройка сворачивает почему-то не вправо, а влево и прямо летит на нас. А что, если столкнемся? Едва я успеваю задать себе этот вопрос, как раздается треск, наша пара и почтовая тройка мешаются в одну темную массу, тарантас становится на дыбы и я падаю на землю, а на меня все мои чемоданы и узлы... Пока я, ошеломленный, лежу на земле, мне слышно, что несется третья тройка. «Ну, думаю, эта наверное убьет меня». Но, слава богу, я ничего не сломал себе, ушибся не больно и могу встать с земли. Вскакиваю, отбегаю в сторону и кричу не своим голосом:

– Стой! Стой!

Со дна пустой почтовой телеги поднимается фигура, берется за вожжи, и третья тройка останавливается почти у самых моих вещей.

Минуты две проходят в молчании. Какое-то тупое недоумение, точно все мы никак не можем понять того, что произошло. Оглобли сломаны, сбруи порваны, дуги с колокольчиками валяются на земле, лошади тяжело дышат; они тоже ошеломлены и, кажется, больно ушиблены. Старик, кряхтя и охая, поднимается с земли; первые две тройки возвращаются, подъезжает еще четвертая тройка, потом пятая...

Затем начинается неистовая ругань.

– Чтоб тебя уязвило! – кричит ящик, столкнувшийся с нами. – Язвина тебе в рот! Где у тебя глаза были, старая собака?

– А кто виноват? – кричит плачущим голосом старик. – Ты виноват, да ты же и ругаешься?

Как можно понять из ругани, причиной столкновения было следующее. Ехало в Абатское пять обратных троек, возивших почту; по закону, обратные ящики должны ехать шагом, но передний ящик, соскучившись и желая скорее попасть в тепло, погнал лошадей во весь дух, в задних же четырех телегах ящики спали и некому было править тройками; за первую во весь дух побежали и остальные четыре. Если бы я спал в тарантасе или если бы третья тройка бежала тотчас же за второй, то, конечно, дело не обошлось бы для меня так благополучно.

Ящики ругаются во всё горло, так что их, должно быть, за десять верст слышно. Ругаются нестерпимо. Сколько остроумия, злости и душевной нечистоты потрачено, чтобы придумать эти гадкие слова и фразы, имеющие целью оскорбить и осквернить человека во всем, что ему свято, дорого и любо! Так умеют браниться только сибирские ящики и перевозчики, а научились они этому, говорят, у арестантов. Из ящиков громче и злее всех бранится виноватый.

– Ты не бранись, дурак! – защищается старик.

– А что? – спрашивает виноватый ящик, мальчишка лет 19, с угрожающим видом подходит к старику и становится лицом к лицу. – А что?

– Ты не очень!

Из Сибири. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

– А что? Отвечай: что же будет? Возьму обломок оглобли, да обломком тебя, язвина!

По тону судя, быть драке. Ночью, перед рассветом, среди этой дикой ругающейся орды, в виду близких и далеких огней, пожирающих траву, но ни на каплю не согревающих холодного ночного воздуха, около этих беспокойных, норовистых лошадей, которые столпились в кучу и ржут, я чувствую такое одиночество, какое трудно описать.

Старик, ворча и высоко поднимая ноги, – это он от болезни, – ходит вокруг тарантаса и лошадей и отвязывает, где только можно, веревочки и ремешки, чтобы связать ими сломанную оглоблю, потом он, зажигая спичку за спичкой, ползает на брюхе по дороге и ищет постромку. Идут в дело и мои багажные ремни. Уж занялась заря на востоке, уж давно кричат проснувшиеся дикие гуси, наконец уж уехали ямщики, а мы всё еще стоим на дороге и починаемся. Пробовали было ехать дальше, но связанная оглобля – трах!.. и нужно опять стоять... Холодно!

Кое-как шагом доплетаемся до деревни. Останавливаемся около двухэтажной избы.

– Илья Иваныч, кони дома? – кричит старик.

– Дома! – отвечает кто-то глухо за окном.

В избе встречает меня высокий человек в красной рубахе и босой, сонный и чему-то спросонок улыбающийся.

– Клопы одолели, приятель! – говорит он, почесываясь и улыбаясь еще шире. – Нарочно горницу не топим. Когда холодно, они не ходят.

Здесь клопы и тараканы не ползают, а ходят; путешественники не едут, а бегут. Спрашивают: «Куда, ваше благородие, бежишь?» Это значит: «Куда едешь?»

Пока на дворе подмазывают возок и позвякивают колокольчиками, пока одевается Илья Иваныч, который сейчас повезет меня, я отыскиваю в углу удобное местечко, склоняю голову на мешок с чем-то, кажется, с зерном, и тотчас же мною овладевает крепкий сон; уж снятся мне моя постель, моя комната, снится, что я сижу у себя дома за столом и рассказываю своим, как моя пара столкнулась с почтовой тройкой, но проходят две-три минуты, и я слышу, как Илья Иваныч дергает меня за рукав и говорит:

– Вставай, приятель, лошади готовы.

Какое издевательство над ленью, над отвращением к холоду, который змейкой пробегает по спине и вдоль и поперек! Опять еду... Уже светло, и золотится перед восходом небо. Дорога, трава в поле и жалкие, молодые березки покрыты изморозью, точно засахарились. Где-то токуют тетерева...

8-го мая.

III

По сибирскому тракту, от Тюмени до Томска, нет ни поселков, ни хуторов, а одни только большие села, отстоящие одно от другого на 20, 25 и даже на 40 верст. Усадеб по дороге не встречается, так как помещиков здесь нет; не увидите вы ни фабрик, ни мельниц, ни постоялых дворов... Единственное, что по пути напоминает о человеке, это телеграфные проволоки, завывающие под ветер, да верстовые столбы.

В каждом селе – церковь, а иногда и две; есть и школы, тоже, кажется, во всех селах. Избы деревянные, часто двухэтажные, крыши тесовые. Около каждой избы на заборе или на березке стоит скворечня, и так низко, что до нее можно рукой достать. Скворцы здесь пользуются общею любовью, и их даже кошки не трогают. Садов нет.

Часов в пять утра, после морозной ночи и утомительной езды, я сижу в избе вольного ямщика, в горнице, и пью чай. Горница – это светлая, просторная комната, с обстановкой, о какой нашему курскому или московскому мужику можно только мечтать. Чистота удивительная: ни соринки, ни пятнышка. Стены белые, полы непременно деревянные, крашенные или покрытые цветными холщовыми постилками; два стола, диван, стулья, шкаф с посудой, на окнах горшки с цветами. В углу стоит кровать, на ней целая гора из пуховиков и подушек в красных наволочках; чтобы

взобраться на эту гору, надо подставлять стул, а ляжешь – утонешь. Сибиряки любят мягко спать.

От образа в углу тянутся по обе стороны лубочные картины; тут портрет государя, непременно в нескольких экземплярах, Георгий Победоносец, «Европейские государи», среди которых очутился почему-то и шах персидский, затем изображения святых с латинскими и немецкими подписями, поясной портрет Баттенберга, Скобелева, опять святые... На украшение стен идут и конфетные бумажки, и водочные ярлыки, и этикетки из-под папирос, и эта бедность совсем не вяжется с солидной постелью и крашеными полами. Но что делать? Спрос на искусство здесь большой, но бог не дает художников. Посмотрите на дверь, на которой нарисовано дерево с синими и красными цветами и с какими-то птицами, похожими больше на рыб, чем на птиц; дерево это растет из вазы, и по этой вазе видно, что рисовал его европеец, то есть ссыльный; ссыльный же малевал и круг на потолке и узоры на печке. Немудрая живопись, но здешнему крестьянину и она не под силу. Девять месяцев не снимает он рукавиц и не распрямляет пальцев; то мороз в сорок градусов, то луга на двадцать верст затопило, а придет короткое лето – спина болит от работы и тянутся жилы. Когда уж тут рисовать? Оттого, что круглый год ведет он жестокую борьбу с природой, он не живописец, не музыкант, не певец. По деревне вы редко услышите гармонику и не ждите, чтоб ямщик затянул песню.

Дверь отворена, и сквозь сени видна другая комната, светлая и с деревянными полами. Там кипит работа. Хозяйка, женщина лет 25-ти, высокая, худощавая, с добрым, кротким лицом, месит на столе тесто; утреннее солнце бьет ей в глаза, в грудь, в руки, и кажется, она замешивает тесто с солнечным светом; хозяйская сестра-девушка печет блины, стряпка обваривает кипятком только что зарезанного поросенка, хозяин катает из шерсти валенки. Ничего не делают только старики. Бабушка сидит на печке, свесив ноги, стонет и охает; дедушка лежит на полатах и кашляет, но, заметив меня, сползает вниз и идет через сени в горницу. Ему хочется поговорить... Начинает он с того, что весна теперь холодная, какой давно не было. Помилуйте, завтра Николин день, послезавтра Вознесенье, а ночью шел снег, и по дорогам к селу замерзла какая-то женщина; скот тощит от бескормицы, у телят от морозов понос... Потом он спрашивает меня, откуда я, куда бегу и зачем, женат ли я, и правду ли говорят бабы, что скоро будет война.

Слышится детский плач. Теперь только я замечаю, что между кроватью и печью висит маленькая люлька. Хозяйка бросает тесто и бежит в горницу.

– Однако какой у нас случай, купец! – говорит она мне, качая люльку и кротко улыбаясь. – Месяца два назад приехала к нам из Омска мещанка с ребеночком... Барыней одета, однако... Ребеночка она родила в Тюкалинске, там и крестила; после родов-то в дороге разнемоглась и стала жить у нас вот в этой горнице. Говорит, что замужняя, а кто ее знает? На лице не написано, а паспорта при ней нет. Может, ребеночек незаконный...

– Не наше дело судить, – бормочет дедушка.

– Прожила она у нас неделю, – продолжает хозяйка, – потом и говорит: «Я поеду в Омск к мужу, а мой Саша пусть у вас останется; я за ним через неделю приеду. Теперь боюсь, как бы не замерз дорогой...» Я ей и говорю: «Послушай, сударыня, бог посылает людям детей, кому десять, кому и двенадцать, а меня с хозяином наказал, ни одного не дал; оставь нам своего Сашу, мы его себе в сыночки возьмем». Она подумала и говорит: «Однако погодите, я мужа своего спрошу и через неделю вам письмо пришлю. Без мужа не смею». Оставила нам Сашу и уехала. И вот уж два месяца прошло, а она ни сама не едет, ни письма не шлет. Наказание господне. Полюбили мы Сашу, как родного, а сами теперь не знаем, наш он или чужой.

– Надо вам этой мещанке письмо написать, – советую я.

– Стало быть, надо! – говорит из сеней хозяин. Он входит в горницу и молча смотрит на меня: не дам ли я еще какого-нибудь совета?

– Да как ты ей напишешь? – говорит хозяйка. – Фамилии своей она нам не сказывала. Марья Петровна – вот и всё. А Омск, тоже сказать, город большой, не найдешь ее там. Ищи ветра в поле!

– Стало быть, не найдешь! – соглашается хозяин и смотрит на меня так, как будто хочет сказать: «Помоги же, бога ради!»

– Привыкли мы к Саше, – говорит хозяйка, давая ребенку соску. – Закричит днем или ночью, и на сердце иначе станет, словно и изба у нас другая. А вот, не ровен час, вернется та и возьмет от нас...

Глаза хозяйки краснеют, наливаются слезами, и она быстро выходит из горницы. Хозяин кивает ей вслед, усмехается и говорит:

– Привыкла... Известно, жалко!

Он и сам привык, ему тоже жалко, но он мужчина, и сознаться ему в этом неловко.

Какие хорошие люди! Пока я пью чай и слушаю про Сашу, мои вещи лежат на дворе, в возке. На вопрос, не украдут ли их, мне отвечают с улыбкой:

– Кому же тут красть? У нас и ночью не крадут.

И в самом деле, по всему тракту не слышно, чтоб у проезжего что-нибудь украли. Нравы здесь в этом отношении чудесные, традиции хорошие. Я глубоко убежден, что если бы я обронил в возке деньги, то нашедший их вольный ямщик возвратил бы мне их, не заглянув даже в бумажник. На почтовых я ездил мало и про почтовых ямщиков могу сказать только одно: в жалобных книгах, которые я читал от скуки на станциях, мне попала на глаза только одна жалоба на покражу: у проезжего пропал мешочек с сапогами, но и эта жалоба, что видно из резолюции почтового начальства, оставлена без последствий, так как мешочек был скоро найден и возвращен проезжему. О грабежах на дороге здесь не принято даже говорить. Не слышно про них. А встречные бродяги, которыми меня так пугали, когда я ехал сюда, здесь так же страшны для проезжего, как зайцы и утки.

К чаю мне подают блинов из пшеничной муки, пирогов с творогом и яйцами, оладий, сдобных калачей. Блины тонкие, жирные, а калачи вкусом и видом напоминают те желтые, ноздреватые бублики, которые в Таганроге и в Ростове-на-Дону хохлы продают на базарах. Хлеб везде по сибирскому тракту пекут вкуснейший; пекут его ежедневно и в большом количестве. Пшеничная мука здесь дешевая: 30–40 коп. за пуд.

На одном хлебе сыт не будешь. Если в полдень попросишь чего-нибудь вареного, то везде предлагают одной только «утячьей похлебки» и больше ничего. А эту похлебку есть нельзя: мутная жидкость, в которой плавают кусочки дикой утки и потроха, не совсем очищенные от содержимого. Невкусно, и смотреть тошно. В каждой избе – дичина. В Сибири никаких охотничьих законов не знают и стреляют птиц в продолжение всего года. Но едва ли здесь скоро истребят дичь. На расстоянии 1500 верст от Тюмени до Томска дичи много, но не найдется ни одного порядочного ружья, и из ста охотников только один умеет стрелять влёт. Обыкновенно охотник ползет к уткам на животе, по кочкам и мокрой траве, и стреляет только из-за куста, в 20–30 шагах в сидячую, причем его поганое ружье раз пять дает осечку, а выстрелив, сильно отдаёт в плечо и в щеку; если удастся попасть в цель, то тоже не малое горе: снимай сапоги и шаровары и полезай в холодную воду. Охотничьих собак здесь нет.

9-го мая.

IV

Подул холодный, резкий ветер, начались дожди, которые идут день и ночь, не переставая. В 18 верстах от Иртыша мужик Федор Павлович, к которому привез меня вольный ямщик, говорит, что дальше ехать нельзя, так как от дождей по берегу Иртыша затопило луга; вчера из Пустынского приехал Кузьма, так он едва лошадей не утопил; надо ждать.

– А до каких пор ждать? – спрашиваю.

– А кто ж его знает? Спроси у бога.

Иду в избу. Там в горнице сидит старик в красной рубахе, тяжело дышит и кашляет. Я даю ему доверов порошок – полегчало, но он в медицину не верит и говорит, что ему стало легче оттого, что он «отсиделся».

Сижу и думаю: остаться ночевать? Но ведь всю ночь будет кашлять этот дед, пожалуй, есть клопы, да и кто поручится, что завтра вода не разольется еще шире?

Нет, уж лучше ехать!

– Поедем, Федор Павлович! – говорю я хозяину. – Не стану я ждать.

– Это как вам угодно, – кротко соглашается он. – Только бы нам в воде не ночевать.

Едем. Дождь не идет, а, как говорится, лупит во всю мочь; тарантас же у меня не крытый. Первые версты восемь проезжаем по грязной дороге, но все-таки рысью.

– Ну, погода! – говорит Федор Павлович. – Признаться, сам я давно там не был, не видел разлива, да вот Кузьма напугал. Может, бог даст, и поедем.

Но вот перед глазами расстилается широкое озеро. Это затопленные луга. Ветер гуляет по нем, шумит и поднимает зыбь. То там, то сям видны островки и еще не залитые полоски земли. Направление дороги указывают мосты и гати, которые размокли, раскисли и почти все сдвинуты с места. Вдали за озером тянется высокий берег Иртыша, бурый и угрюмый, а над ним нависли тяжелые, серые облака; кое-где по берегу белеет снег.

Начинаем ехать по озеру. Неглубоко, колеса сидят в воде только на четверть аршина. Ехать, пожалуй, было бы сносно, если бы не мосты. Около каждого моста нужно вылезть из тарантаса и становиться в грязь или в воду; чтобы въехать на мост, нужно сначала к его приподнятому краю подложить доски и бревна, которые разбросаны тут же на мосту. Лошадей по мосту водим поодиночке. Федор Павлович отпрягает пристяжных и дает мне держать; я держу их за холодные, грязные поводья, а они, норовистые, пятятся назад, ветер хочет сорвать с меня одежду, дождь больно бьет в лицо. Не вернуться ли? Но Федор Павлович молчит и, вероятно, ждет, когда я сам предложу вернуться; я тоже молчу.

Берем приступом один мост, другой, потом третий... В одном месте увязли в грязь и едва не опрокинулись, в другом заупрямились лошади, а утки и чайки носятся над нами и точно смеются. По лицу Федора Павловича, по неторопливым движениям, по его молчанию вижу, что он не впервые так бьется, что бывает и хуже, и что давно-давно уже привык он к невылазной грязи, воде, холодному дождю. Недешево достается ему жизнь!

Въезжаем на островок. Тут избушка без крыши; по мокрому навозу ходят две мокрые лошади. На зов Федора Павловича из избушки выходит бородатый мужик с длинной хворостиной и берется показать нам дорогу. Он молча идет вперед, измеряет хворостиной глубину и пробует грунт, а мы за ним. Выводит он нас на длинную, узкую полосу, которую называет хребтом; мы должны ехать по этому хребту, а когда он кончится, взять влево, потом вправо и въехать на другой хребет, который тянется до самого перевоза.

Темнеет в воздухе; нет уж ни уток, ни чаек. Бородатый мужик научил нас, как ехать, и давно уж вернулся. Кончился первый хребет, опять положемся в воде, берем влево, потом вправо. Но вот наконец и второй хребет. Он тянется по самому краю берега.

Иртыш широк. Если Ермак переплывал его во время разлива, то он утонул бы и без кольчуги. Тот берег высок, крут и совершенно пустынен. Видна лощина; в этой лощине, как говорит Федор Павлович, идет дорога на гору, в село Пустынное, куда мне нужно ехать. Этот же берег отлогий, на аршин выше уровня; он гол, изгрызен и склизок на вид; мутные валы с белыми гребнями со злобой хлещут по нем и тотчас же отскакивают назад, точно им гадко прикасаться к этому неуклюжему, осклизлому берегу, на котором, судя по виду, могут жить одни только жабы и души больших грешников. Иртыш не шумит и не ревет, а похоже на то, как будто он стучит у себя на дне по гробам. Проклятое впечатление!

Подъезжаем к избе, где живут перевозчики. Выходит один и говорит, что плыть на ту сторону нельзя, мешает непогода, что нужно ждать утра.

Остаюсь ночевать. Всю ночь слушаю, как храпят перевозчики и мой возница, как в окна стучит дождь и ревет ветер, как сердитый Иртыш стучит по гробам... Ранним утром иду к реке; дождь продолжает идти, ветер же стал тише, но все-таки плыть на пароме нельзя. Меня переправляют на лодке.

Из Сибири. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

Перевоз здесь держит артель из хозяев-крестьян; среди перевозчиков нет ни одного ссыльного, а все свои. Народ добрый, ласковый. Когда я, переплыв реку, взбираюсь на скользкую гору, чтобы выбраться на дорогу, где ждет меня лошадь, вслед мне желают и счастливого пути, и доброго здоровья, и успеха в делах... А Иртыш сердится...

12-го мая.

У

Наказание с этим разливом! В Колывани мне не дают почтовых лошадей; говорят, что по берегу Оби затопило луга, нельзя ехать. Задержали даже почту и ждут насчет ее особого распоряжения.

Станционный писарь советует мне ехать на вольных в какой-то Выюн, а оттуда в Красный Яр; из Красного Яра меня повезут верст 12 на лодке в Дубровино, и там уж мне дадут почтовых лошадей. Так и делаю: еду во Выюн, потом в Красный Яр... Привозят меня к мужику Андрею, у которого есть лодка.

– Есть лодка, есть! – говорит Андрей, мужик лет 50, худощавый, с русой бородкой.  
– Есть лодка! Рано утром она повезла в Дубровино заседателя писаря и скоро будет назад. Вы подождите и пока чайку покушайте.

Пью чай, потом взбираюсь на гору из пуховиков и подушек... Просыпаюсь, спрашиваю про лодку – не вернулась еще. В горнице, чтоб не было холодно, бабы затопили печь и кстати, заодно, пекут хлеб. Горница нагрелась, и хлеб уж испекся, а лодки все еще нет.

– Парня ненадежного послали! – вздыхает хозяин, покачивая головой. – Неповоротливый, как баба, должно, ветра испугался и не едет. Ишь ведь какой ветер! Ты бы, барин, еще чайку покушал, что ли? Небось тоскливо тебе?

Дурачок, в изодранной сермяге и босой, вымокший на дожде, таскает в сени дрова и ведра с водой. Он то и дело заглядывает ко мне в горницу; покажет свою лохматую, нечесаную голову, быстро проговорит что-то, промочит, как теленок, – и назад. Кажется, что, глядя на его мокрое лицо и немигающие глаза и слушая его голос, скоро сам начнешь бредить.

После полудня к хозяину приезжает очень высокий и очень толстый мужик, с широким, бычьим затылком и с громадными кулаками, похожий на русского ожиревшего целовальника. Зовут его Петром Петровичем. Живет он в соседнем селе и держит там с братом пятьдесят лошадей, возит вольных, поставяет на почтовую станцию тройки, землю пашет, скотом торгует, а теперь едет в Колывань по какому-то торговому делу.

– Вы из России? – спрашивает он меня.

– Из России.

– Ни разу не был. У нас тут, кто в Томск съездил, тот уж и нос дерет, словно весь свет объездил. А вот скоро, пишут в газетах, к нам железную дорогу проведут. Скажите, господин, как же это так? Машина паром действует – это я хорошо понимаю. Ну, а если, положим, ей надо через деревню проходить, ведь она избы ломает и людей подавит!

Я ему объясняю, а он внимательно слушает и говорит: «Ишь ты!» Из разговора узнаю, что этот жирный человек бывал и в Томске, и в Иркутске, и в Иrbите, что он, будучи уже женатым, выучился самоучкой читать и писать. На хозяина, который бывал только в Томске, он смотрит снисходительно, слушает его неохотно. Когда ему что-нибудь предлагают или подают, он вежливо говорит: «Не беспокойтесь».

Хозяин и гость садятся пить чай. Молодая бабенка, жена хозяйского сына, подает им чай на подносе и низко кланяется, они берут чашки и молча пьют. В стороне, около печки, кипит самовар. Я опять лезу на гору из пуховиков и подушек, лежу и читаю, потом спускаюсь вниз и пишу; проходит много времени, очень много, а бабенка все еще кланяется, и хозяин с гостем все еще пьют чай.

– Бе-ба! – кричит в сенях дурачок. – Ме-ма!

А лодки нет! На дворе темнеет, и в горнице зажигают сальную свечу. Петр Петрович

Из Сибири. Антон Павлович Чехов [chekhovanton.ru](http://chekhovanton.ru)  
долго расспрашивает меня о том, куда и зачем я еду, будет ли война, сколько стоит мой револьвер, но уж и ему надоело говорить; сидит он молча за столом, подпер щеки кулаками и задумался. На свечке нагорел фитиль. Отворяется бесшумно дверь, входит дурачок и садится на сундук; он оголил себе руки до плеч, а руки у него худые, тонкие, как палочки. Сел и уставился на свечку.

– Ступай отсюда, ступай! – говорит хозяин.

– Ме-ма! – мычит он и, согнувшись, выходит в сени. – Бе-ба!

Дождь стучит в окна. Хозяин и гость садятся есть утячью похлебку; есть им обоим не хочется, и едят они только так, от скуки... Потом бабенка постилает на полу пуховики и подушки; хозяин и гость раздеваются и ложатся рядом.

Какая скука! Чтобы развлечь себя, переношусь мыслями в родные края, где уже весна и холодный дождь не стучит в окна, но, как нарочно, мне вспоминается жизнь вялая, серая, бесполезная; кажется, что и там нагорел фитиль, что и там кричат: «Ме-ма! бе-ба!..» Нет охоты возвращаться назад.

Постилаю себе полушубок на полу, ложусь и ставлю у изголовья свечу. Петр Петрович приподнимает голову и смотрит на меня.

– Я вот что хочу вам объяснить... – говорит он вполголоса, чтобы хозяин не услышал. – Народ здесь в Сибири темный, бесталаный. Из России везут ему сюда и полушубки, и ситец, и посуду, и гвозди, а сам он ничего не умеет. Только землю пашет да вольных возит, а больше ничего... Даже рыбы ловить не умеет. Скучный народ, не дай бог, какой скучный! Живешь с ними и только жиреешь без меры, а чтоб для души и для ума – ничего, как есть! Жалко смотреть, господин! Человек-то ведь здесь стоящий, сердце у него мягкое, он и не украдет, и не обидит, и не очень чтоб пьяница. Золото, а не человек, но, гляди, пропадает ни за грош, без всякой пользы, как муха или, скажем, комар. Спросите его: для чего он живет?

– Человек работает, сыт, одет, – говорю я. – Что же ему еще нужно?

– Все-таки он должен понимать, для какой надобности он живет. В России небось понимают!

– Нет, не понимают.

– Это никак невозможно, – говорит Петр Петрович, подумав. – Человек не лошадь. Примерно, у нас по всей Сибири нет правды. Ежели и была какая, то уж давно замерзла. Вот и должен человек эту правду искать. Я мужик богатый, сильный, у заседателя руку имею и могу вот этого самого хозяина завтра же обидеть: он у меня в тюрьме сгниет, и дети его по миру пойдут. И нет на меня никакой управы, а ему защиты, потому без правды живем... Значит, в метрике только записано, что мы люди, Петры да Андреи, а на деле выходим – волки. Или вот в рассуждении бога... Дело нешуточное, страшное, а хозяин ложился и только три раза лоб перекрестил, как будто это и всё; наживает и прячет деньги, небось, гляди, уж сот восемь скопил, всё новых лошадей прикупает, а спросил бы себя, для чего это? Ведь на тот свет не возьмешь! Он и спросил бы, да не понимает: ума мало.

Долго говорит Петр Петрович... Но вот и он кончил; вот уж и светает, и поют петухи.

– Ме-ма! – мычит дурачок. – Бе-ба!

А лодки всё еще нет!

13-го мая.

VI

В Дубровине мне дают лошадей, и я еду дальше. Но в 45 верстах от Томска мне опять говорят, что ехать нельзя, что река Томь затопила луга и дороги. Опять надо плыть на лодке. И тут та же история, что в Красном Яру: лодка уплыла на ту сторону, но не может вернуться, так как дует сильный ветер и по реке ходят высокие валы... Будем ждать!

Утром идет снег и покрывает землю на полтора вертка (это 14-го мая!), в полдень идет дождь и смывает весь снег, а вечером, во время захода солнца, когда я стою

Из Сибири. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru  
на берегу и смотрю, как борется с течением подплывающая к нам лодка, идут и дождь и крупа... И в это же время происходит явление, которое совсем не вяжется со снегом и холодом: я ясно слышу раскаты грома. Ямщики крестятся и говорят, что это к теплу.

Лодка велика. Кладут в нее сначала пудов двадцать почты, потом мой багаж, и всё покрывают мокрыми рогожами... Почтальон, высокий пожилой человек, садится на тюк, я – на свой чемодан. У ног моих помещается маленький солдатик, весь в веснушках. Шинель его хоть выжми, и с фуражки за шею течет вода.

– Господи благослови! Отчаливай!

Плывем по течению, около кустов тальника. Гребцы рассказывают, что только что, минут десять назад, утонули две лошади, а мальчик, который сидел на телеге, едва спасся, уцепившись за куст тальника.

– Гребни, гребни, ребята, после расскажешь! – говорит рулевой. – Понатужься!

По реке, как это бывает перед грозой, проносится порыв ветра... Голый тальник наклоняется к воде и шумит, река вдруг темнеет, заходили беспорядочно валы...

– Ребята, сворачивай в кусты, переждать надо! – говорит тихо рулевой.

Уж стали поворачивать к тальнику, но кто-то из гребцов замечает, что в случае непогоды всю ночь просидим в тальнике и все-таки утонем, и потому не плыть ли дальше? Предлагают решать большинством голосов и решают плыть дальше...

Река становится темнее, сильный ветер и дождь бьют нам в бок, а берег всё еще далеко, и кусты, за которые, в случае беды, можно бы уцепиться, остаются позади... Почтальон, выдавший на своем веку виды, молчит и не шевелится, точно застыл, гребцы тоже молчат... Я вижу, как у солдатика вдруг побагровела шея. На сердце у меня становится тяжело, и я думаю только о том, что если опрокинется лодка, то я сброшу с себя сначала полушубок, потом пиджак, потом...

Но вот берег всё ближе и ближе, гребцы работают веселее; мало-помалу с души спадает тяжесть, и когда до берега остается не больше трех сажен, становится вдруг легко, весело, и я уж думаю:

«Хорошо быть трусом! Немногого нужно, чтобы ему вдруг стало очень весело!»

15-го мая.

VII

Я не люблю, когда интеллигентный ссыльный стоит у окна и молча глядит на крышу соседнего дома. О чем он думает в это время? Не люблю, когда он разговаривает со мною о пустяках и при этом смотрит мне в лицо с таким выражением, как будто хочет сказать: «Ты вернешься домой, а я нет». Не люблю потому, что в это время мне бесконечно жаль его.

Часто употребляемое выражение, что смертная казнь практикуется теперь только в исключительных случаях, не совсем точно; все высшие карательные меры, которые заменили смертную казнь, все-таки продолжают носить самый важный и существенный признак ее, а именно – пожизненность, вечность, и у всех у них есть цель, унаследованная ими прямо от смертной казни, – удаление преступника из нормальной человеческой среды навсегда, и человек, совершивший тяжкое преступление, умирает для общества, в котором он родился и вырос, так же как и во времена господства смертной казни. В нашем русском законодательстве, сравнительно гуманном, высшие наказания, и уголовные и исправительные, почти все пожизненны. Каторжные работы непременно сопряжены с поселением навсегда; ссылка на поселение страшна именно своею пожизненностью; приговоренный к арестантским ротам, по отбытии наказания, если общество не соглашается принять его в свою среду, ссылается в Сибирь; лишение прав почти во всех случаях носит пожизненный характер и т. д. Таким образом, все высшие карательные меры не дают преступнику вечного успокоения в могиле, именно того, что могло бы мирить мое чувство со смертной казнью, а с другой стороны, пожизненность, сознание, что надежда на лучшее невозможна, что во мне гражданин умер навеки и что никакие мои личные усилия не воскресят его во мне, позволяют думать, что смертная казнь в Европе и у нас не отменена, а только облечена в другую, менее отвратительную для человеческого чувства форму. Европа слишком долго привыкала к смертной казни, чтобы отказаться от нее без долгих и

Я глубоко убежден, что через 50–100 лет на пожизненность наших наказаний будут смотреть с тем же недоумением и чувством неловкости, с каким мы теперь смотрим на рвание ноздрей или лишение пальца на левой руке. И я глубоко убежден также, что, как бы искренно и ясно мы ни сознавали устарелость и предрассудочность таких отживающих явлений, как пожизненность наказаний, мы совершенно не в силах помочь беде. Чтобы заменить эту пожизненность чем-нибудь более рациональным и более отвечающим справедливости, в настоящее время у нас недостает ни знаний, ни опыта, а стало быть, и мужества; все попытки в этом направлении, нерешительные и односторонние, могли бы повести нас только к серьезным ошибкам и крайностям – такова участь всех начинаний, не основанных на знании и опыте. Как это ни грустно и странно, мы не имеем даже права решать модного вопроса о том, что пригоднее для России – тюрьма или ссылка, так как мы совершенно не знаем, что такое тюрьма и что такое ссылка. Взгляните-ка вы на нашу литературу по части тюрьмы и ссылки: что за нищенство! Две-три статейки, два-три имени, а там хоть шаром покати, точно в России нет ни тюрьмы, ни ссылки, ни каторги. Уж 20–30 лет наша мыслящая интеллигенция повторяет фразу, что всякий преступник составляет продукт общества, но как она равнодушна к этому продукту! Причина такого индифферентизма к заключенным и томящимся в ссылке, непонятного в христианском государстве и в христианской литературе, кроется в чрезвычайной необразованности нашего русского юриста; он мало знает и так же не свободен от профессиональных предрассудков, как и осмеянное им крапивное семя. Он сдает университетские экзамены только для того, чтобы уметь судить человека и приговаривать его к тюрьме и ссылке; поступив на службу и получая жалованье, он только судит и приговаривает, а куда идет преступник после суда и зачем, что такое тюрьма и что такое Сибирь, ему неизвестно, неинтересно и не входит в круг его компетенции: это уж дело конвойных и тюремных смотрителей с красными носами!

По отзывам местных обывателей, чиновников, ямщиков, извозчиков, с которыми мне приходилось говорить, интеллигентные ссыльные – все эти бывшие офицеры, чиновники, нотариусы, бухгалтеры, представители золотой молодежи, присланные сюда за подлоги, растраты, мошенничества и т. п., – ведут жизнь замкнутую и скромную. Исключение составляют только субъекты, обладающие темпераментом Ноздрева; эти всюду и во все возрасты и во всех положениях остаются самими собою; но они не сидят на месте, ведут в Сибири цыганскую кочевую жизнь и до такой степени подвижны, что почти неуловимы для наблюдающего глаза. Кроме Ноздревых, нередко встречаются среди интеллигентных «несчастливых» люди глубоко испорченные, безнравственные, откровенно подлые, но эти почти все на счету, их знает всякий, и на них указывают пальцами. Громадное же большинство, повторяю, живет скромно.

По прибытии на место ссылки интеллигентные люди в первое время имеют растерянный, ошеломленный вид; они робки и словно забиты. Большинство из них бедно, малосильно, дурно образованно и не имеет за собою ничего, кроме почерка, часто никуда не годного. Одни из них начинают с того, что по частям распродают свои сорочки из голландского полотна, простыни, платки, и кончают тем, что через 2–3 года умирают в страшной нищете (так, недавно в Томске умер Кузовлев, игравший видную роль в процессе таганрогской таможи; он был похоронен на счет одного великодушного человека, тоже из ссыльных); другие же мало-помалу пристраиваются к какому-нибудь делу и становятся на ноги; они занимаются торговлей, адвокатурой, пишут в местных газетах, поступают в писцы и т. п. Заработок их редко превышает 30–35 руб. в месяц.

Живется им скучно. Сибирская природа в сравнении с русской кажется им однообразной, бедной, беззвучной; на Вознесенье стоит мороз, а на Троицу идет мокрый снег. Квартиры в городах скверные, улицы грязные, в лавках всё дорого, не свежо и скудно, и многого, к чему привык европеец, не найдешь ни за какие деньги. Местная интеллигенция, мыслящая и не мыслящая, от утра до ночи пьет водку, пьет неизящно, грубо и глупо, не зная меры и не пьянея; после первых же двух фраз местный интеллигент непременно уж задает вам вопрос: «А не выпить ли нам водки?» И от скуки пьет с ним ссыльный, сначала морщится, потом привыкает и в конце концов, конечно, спивается. Если говорить о пьянстве, то не ссыльные деморализуют население, а население ссыльных. Женщина здесь так же скучна, как сибирская природа; она не колоритна, холодна, не умеет одеваться, не поет, не смеется, не миловидна и, как выразился один старожил в разговоре со мной: «жестка на ощупь». Когда в Сибири со временем народятся свои собственные романисты и поэты, то в их романах и поэмах женщина не будет героинею; она не

Из Сибири. Антон Павлович Чехов [chekhovanton.ru](http://chekhovanton.ru)

будет вдохновлять, возбуждать к высокой деятельности, спасать, идти «на край света». Если не считать плохих трактиров, семейных бань и многочисленных домов терпимости, явных и тайных, до которых такой охотник сибирский человек, то в городах нет никаких развлечений. В длинные осенние и зимние вечера ссыльный сидит у себя дома или идет к старожилу пить водку; выпьют вдвоем бутылки две водки и полдюжины пива, и потом обычный вопрос: «А не поехать ли нам туда?», то есть в дом терпимости. Тоска и тоска! Чем развлечь свою душу? Прочтет ссыльный какую-нибудь завалящую книжку, вроде «Болезни воли» Рибо, или в первый солнечный весенний день наденет светлые брюки, – вот и всё. Рибо скучноват, да и к стати ли читать о болезнях воли, коли самой воли нет? В светлых брюках холодно, но все-таки разнообразие!

18-го мая.

VIII

Сибирский тракт – самая большая и, кажется, самая безобразная дорога во всем свете. От Тюмени до Томска, благодаря не чиновникам, а природным условиям местности, она еще сносна; тут безлесная равнина; утром шел дождь, а вечером уж высохло; и если до конца мая тракт покрыт горами льда от тающего снега, то вы можете ехать по полю, выбирая на просторе любой окольный путь. От Томска же начинаются тайга и холмы; сохнет почва здесь нескоро, выбирать окольный путь не из чего, поневоле приходится ехать по тракту. И потому-то только после Томска проезжающие начинают браниться и усердно сотрудничать в жалобных книгах. Господа чиновники аккуратно прочитывают их жалобы и на каждой пишут: «Оставить без последствий». Зачем писать? Китайские чиновники давно бы уж завели штампель.

Со мною от Томска до Иркутска едут два поручика и военный доктор. Один поручик пехотный, в мохнатой папахе, другой – топограф, с аксельбантом. На каждой станции мы, грязные, мокрые, сонные, замученные медленной ездой и тряской, валимся на диваны и возмущаемся: «Какая скверная, какая ужасная дорога!» А станционные писаря и старосты говорят нам:

– Это еще ничего, а вот погодите, что на Козульке будет!

Пугают Козулькой на каждой станции, начиная с Томска – писаря загадочно улыбаясь, а встречные проезжающие с злорадством: «Я, мол, проехал, так теперь ты поезжай!» И до того запугивают воображение, что таинственная Козулька начинает сниться в виде птицы с длинным клювом и зелеными глазами.

Козулькой называется расстояние в 22 версты между станциями Чернореченской и Козульской (это между городами Ачинском и Красноярском). За две, за три станции до страшного места начинают уж показываться предвестники. Один встречный говорит, что он четыре раза опрокинулся, другой жалуется, что у него ось сломалась, третий угрюмо молчит и на вопрос, хороша ли дорога, отвечает: «Очень хороша, чёрт бы ее взял!» На меня все смотрят с сожалением, как на покойника, потому что у меня собственный экипаж.

– Наверное сломаете и застрянете в грязи! – говорят мне со вздохом. – Лучше бы вам на перекладных ехать!

Чем ближе к Козульке, тем страшнее предвестники. Недалеко от станции Чернореченской, вечером, возок с моими спутниками вдруг опрокидывается, и поручики и доктор, а с ними и их чемоданы, узлы, шашки и ящик со скрипкой летят в грязь. Ночью наступает моя очередь. У самой станции Чернореченской ящик вдруг объявляет мне, что у моей повозки согнулся курок (железный болт, соединяющий передок с осевой частью; когда он гнется или ломается, то повозка ложится грудью на землю). На станции начинается починка. Человек пять ящиков, от которых пахнет чесноком и луком так, что делается душно и тошно, опрокидывают грязную повозку набок и начинают выбивать из нее молотом согнувшийся курок. Они говорят мне, что в повозке треснула еще какая-то подушка, опустился подлизок, отскочили три гайки, но я ничего не понимаю, да и не хочется понимать... Темно, холодно, скучно, спать хочется...

В комнате на станции тускло горит лампочка. Пахнет керосином, чесноком и луком. На одном диване лежит поручик в папахе и спит, на другом сидит какой-то бородатый человек и лениво натягивает сапоги; он только что получил приказ ехать куда-то починять телеграф, а ему хочется спать, а не ехать. Поручик с аксельбантом и доктор сидят за столом, положили отяжелевшие головы на руки и дремлют. Слышно, как храпит папаха и как на дворе стучат молотом.

Разговаривают... Все эти станционные разговоры везде по тракту ведутся на одну и ту же тему: критикуют местное начальство и бранят дорогу. Больше всего достается почтово-телеграфному ведомству, хотя оно по сибирскому тракту только царствует, но не управляет. Утомленному проезжающему, которому осталось еще до Иркутска более тысячи верст, всё, что рассказывается на станциях, кажется просто ужасным. Все эти разговоры о том, как какой-то член Географического общества, ехавший с женою, раза два ломал свой экипаж и в конце концов вынужден был заночевать в лесу, как какая-то дама от тряски разбила себе голову, как какой-то акцизный просидел 16 часов в грязи и дал мужикам 25 рублей за то, что те его вытащили и довели до станции, как ни один собственник экипажа не доезжал благополучно до станции, – все подобные разговоры отдаются эхом в душе, как крики зловещей птицы.

Судя по рассказам, больше всех страдает почта. Если бы нашлся добрый человек, который взял бы на себя труд проследить движение сибирской почты от Перми хотя бы до Иркутска и записал свои впечатления, то получилась бы повесть, которая могла бы вызвать у читателей слезы. Начать с того, что все эти кожанные тюки и кули, несущие в Сибирь религию, просвещение, торговлю, порядок и деньги, без всякой надобности ночуют целые сутки в Перми только потому, что ленивые пароходы всегда опаздывают к поезду. От Тюмени до Томска весною до самого июня почта воюет с чудовищными разливами рек и с невылазною грязью; помнится, на одной из станций благодаря разливу я должен был ждать около суток; со мною ждала и почта. Через реки и затопленные луга тяжелые почты перевозятся на маленьких лодках, которые не опрокидываются только потому, что за сибирских почтальонов, вероятно, горячо молятся их матери. От Томска же до Иркутска почтовые телеги по 10–20 часов просиживают в грязи около разных Козулек и Чернореченских, которым нет числа. 27-го мая на одной из станций мне рассказывали, что недавно на речке Каче под почтою провалился мост и что едва не утонули лошади и почта, – это одно из обычных приключений, которые давно уже стали для сибирской почты привычными. Пока я ехал до Иркутска, меня в продолжение шести суток не обгоняла почта из Москвы; это значит, что она опоздала больше, чем на неделю, и что целую неделю терпела какие-то приключения. Сибирские почтальоны – мученики. Крест у них тяжелый. Это герои, которых упорно не хочет признать отечество. Они много работают, воюют с природой, как никто, подчас страдают невыносимо, но их увольняют, отчисляют и штрафуют гораздо чаще, чем награждают. Знаете ли, сколько они получают жалованья, и выдали ли вы в своей жизни хоть одного почтальона с медалью? Быть может, они гораздо полезнее тех, которые пишут: «Оставить без последствий», но посмотрите, как они запуганы, забиты, как робки в вашем присутствии...

Но вот наконец объявляют, что экипаж готов. Можно ехать дальше.

– Вставайте! – будит доктор папаху. – Чем раньше проедем эту проклятую Козульку, тем лучше.

– Господа, не так страшен чёрт, как его малюют, – утешает бородатый человек. – Право, Козулька ничем не хуже других станций. Да и к тому же, если боитесь, то 22 версты можно пешком пройти...

– Да, если в грязи не увязнешь... – добавляет писарь.

На небе брезжит утренняя заря. Холодно... Ямщики еще не выехали со двора, но уж говорят: «Ну, дорога, не дай господи!» Едем сначала по деревне... Жидкая грязь, в которой тонут колеса, чередуется с сухими кочками и ухабами; из гатей и мостков, утонувших в жидком навозе, ребрами выступают бревна, езда по которым у людей выворачивает души, а у экипажей ломает оси...

Но вот деревня кончилась, и мы на страшной Козулке. Дорога тут в самом деле отвратительна, но я не нахожу, чтобы она была хуже, чем, например, около Мариинска или той же Чернореченской. Представьте вы себе широкую просеку, вдоль которой тянется насыпь в сажени четыре ширины, из глины и мусора, – это и есть тракт. Если глядеть на эту насыпь сбоку, то кажется, что из земли, как в открытой музыкальной шкатулке, выдается большой органный вал. По обе стороны его – канавы. Вдоль вала тянутся колеи, глубиною в пол-аршина и более, эти перерезываются множеством поперечных, и, таким образом, весь вал представляет из себя ряд горных цепей, среди которых есть свои Казбеки и Эльбурсы; вершины гор уже высохли и стучат по колесам, у подножий же еще хлюпает вода. Только разве

Из Сибири. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

очень искусный фокусник мог бы поставить на этой насыпи экипаж так, чтобы он стоял прямо, обыкновенно же экипаж всегда находится в положении, которое, пока вы не привыкли, каждую минуту заставляя вас кричать: «Ямщик, мы опрокидываемся!» То правые колеса погружаются в глубокую колею, а левые стоят на вершинах гор, то два колеса увязли в грязи, третье на вершине, а четвертое болтается в воздухе... Тысячи положений принимает коляска, вы же в это время хватаете себя то за голову, то за бока, кланяетесь во все стороны и прикусываете себе язык, а ваши чемоданы и ящики бунтуют и громоздятся друг на друга и на вас самих. А посмотрите на ямщика: как этот акробат умудряется сидеть на козлах?

Если бы кто посмотрел на нас со стороны, то сказал бы, что мы не едем, а сходим с ума. Мы хотим держаться подальше от насыпи и едем по опушке, стараясь найти окольный путь; но и тут колеи, кочки, ребра и мостки. Проехав немного, ямщик останавливается; он думает минуту и, беспомощно крикнув, с таким выражением, как будто хочет сейчас совершить большую подлость, правит к тракту, прямо на канаву. Раздается треск: трах по передним колесам, трах по задним! – это мы через канаву едем. Потом взбираемся на насыпь, тоже с треском. С лошадей валит пар, вальки отрываются, шлеи и дуги ползут в сторону... – «Но, матушка! – кричит ямщик, хлеща изо всей силы кнутом. – Но, дружок! У, язви твою душу!» Протащив возок шагов десять, лошади останавливаются; теперь, как ни хлещи по ним, как ни обзывай, а уж не пойдут дальше. Нечего делать, опять правим на канаву и спускаемся с насыпи, опять ищем окольной дороги, потом опять раздумье и поворот к насыпи – и так без конца.

Тяжело ехать, очень тяжело, но становится еще тяжелее, как подумаешь, что эта безобразная, рябая полоса земли, эта черная оспа, есть почти единственная жила, соединяющая Европу с Сибирью! И по такой жиле в Сибирь, говорят, течет цивилизация! Да, говорят, говорят много, и если бы нас подслушали ямщики, почтальоны или эти вот мокрые, грязные мужики, которые по колена вязнут в грязи около своего обоза, везущего в Европу чай, то какого бы мнения они были об Европе, об ее искренности!

Кстати, посмотрите на обоз. Возов сорок с чайными цибиками тянется по самой насыпи... Колеса наполовину спрятались в глубоких колеях, тощие лошаденки вытягивают шею... Около возов идут возчики; вытаскивая ноги из грязи и помогая лошадям, они давно уже выбились из сил... Вот часть обоза остановилась. Что такое? У одного из возов сломалось колесо... Нет, уж лучше не смотреть!

Чтобы поглумиться над замученными ямщиками, почтальонами, возчиками и лошадьми, кто-то распорядился насыпать по сторонам дороги кучи кирпичного мусора и камня. Это для того, чтобы каждую минуту напоминать, что в скором времени дорога будет еще хуже. Говорят, что в городах и селах, по сибирскому тракту, живут люди, которые получают жалованье за то, что починяют дорогу. Если это правда, то надо прибавить им жалованья, чтобы они, пожалуйста, не трудились починять, так как от их починок дорога становится всё хуже и хуже. По словам крестьян, ремонт дороги, вроде Козульской, производится так. В конце июня или в начале июля, в самый сезон мошкары – местной египетской казни, «сгоняют» из сел народ и велят ему засыпать высохшие колеи и ямы хворостом, кирпичным мусором и камнем, который стирается между пальцами в порошок; ремонт продолжается до конца лета. Потом идет снег и покрывает дорогу ухабами, единственными в свете, укачивающими до морской болезни; потом весна и грязь, потом опять ремонт – и так из года в год.

До Томска мне пришлось познакомиться с одним заседателем и проехать вместе с ним две-три станции. Помнится, когда мы сидели в избе у какого-то еврея и ели уху из окуней, вошел сотский и доложил заседателю, что в таком-то месте дорога совсем испортилась и что дорожный подрядчик не хочет починять ее...

– Позови его сюда! – распорядился заседатель. Немного погодя вошел маленький мужичонко, лохматый, с кривой физиономией. Заседатель сорвался со стула и бросился на него...

– Ты как же смеешь, подлец, не починять дорогу? – стал он кричать плачущим голосом. – По ней проехать нельзя, шею ломают, губернатор пишет, исправник пишет, я выхожу у всех виноват, а ты, мерзавец, язви твою душу, анафема, окаянная твоя рожа, – что смотришь? А? Гадина ты этакая! Чтоб завтра же была починена дорога! Завтра буду ехать назад, и если увижу, что дорога не починена, то я тебе рожу раскровеню, искалечу разбойника! Пош-шел вон!

Из Сибири. Антон Павлович Чехов [chekhovanton.ru](http://chekhovanton.ru)

Мужичонко заморгал глазами, вспотел, сделал лицо еще кривее и юркнул в дверь. Заседатель вернулся к столу, сел и сказал, улыбаясь:

– Да, конечно, после петербургских и московских вам здешние женщины не могут понравиться, но если хорошенько поискать, то и здесь можно найти девочку...

Интересно бы знать, что успел мужичонко сделать до завтра? И что можно сделать в такой короткий срок? Не знаю, к счастью или к несчастью для сибирского тракта, заседатели недолго сидят на одном месте; их часто меняют. Рассказывают, что один вновь назначенный заседатель, прибыв в свой участок, согнал крестьян и приказал им копать по сторонам дороги канавы; его преемник, не желая уступать ему в оригинальности, согнал крестьян и приказал им зарывать канавы. Третий распорядился в своем участке покрыть дорогу слоем глины в пол-аршина. Четвертый, пятый, шестой, седьмой – каждый постарался принести в улей свою долю меда...

В продолжение всего года дорога остается невозможной: весной – грязь, летом – кочки, ямы и ремонт, зимой – ухабы. Та быстрая езда, которая когда-то захватывала дух у Ф. Ф. Вигеля и позднее у И. А. Гончарова, теперь бывает мыслима только разве зимою в первопутку. Правда, и современные писатели восхищаются быстротой сибирской езды, но это только потому, что неловко же, побывав в Сибири, не испытать быстрой езды, хотя бы только в воображении...

Трудно надеяться, чтобы козулька когда-нибудь перестала ломать оси и колеса. Сибирские чиновники на своем веку не видали ведь дороги лучше; им и эта нравится, а жалобные книги, корреспонденции и критика проезжающих в Сибири приносят дорогам так же мало пользы, как и деньги, которые ассигнуются на их починку...

Приезжаем мы на Козульскую станцию, когда уж высоко стоит солнце. Мои спутники едут дальше, а я остаюсь починять свой экипаж.

IX

Если пейзаж в дороге для вас не последнее дело, то, едучи из России в Сибирь, вы проскучаете от Урала вплоть до самого Енисея. Холодная равнина, кривые березки, лужицы, кое-где озера, снег в мае да пустынные, унылые берега притоков Оби – вот и всё, что удастся памяти сохранить от первых двух тысяч верст. Природа же, которую боготворят инородцы, уважают наши беглые и которая со временем будет служить неисчерпаемым золотым прииском для сибирских поэтов, природа оригинальная, величавая и прекрасная начинается только с Енисея.

Не в обиду будь сказано ревнивым почитателям Волги, в своей жизни я не видел реки великолепнее Енисея. Пускай Волга нарядная, скромная, грустная красавица, зато Енисей могучий, неистовый богатырь, который не знает, куда девать свои силы и молодость. На Волге человек начал удалью, а кончил стоном, который зовется песнью; яркие, золотые надежды сменились у него немочью, которую принято называть русским пессимизмом, на Енисее же жизнь началась стоном, а кончится удалью, какая нам и во сне не снилась. Так, по крайней мере, думал я, стоя на берегу широкого Енисея и с жадностью глядя на его воду, которая с страшной быстротой и силой мчится в суровый ледовитый океан. В берегах Енисея тесно. Невысокие валы обгоняют друг друга, теснятся и описывают спиральные круги, и кажется странным, что этот силач не смыл еще берегов и не пробуравил дна. На этом берегу Красноярск, самый лучший и красивый из всех сибирских городов, а на том – горы, напомнившие мне о Кавказе, такие же дымчатые, мечтательные. Я стоял и думал: какая полная, умная и смелая жизнь осветит со временем эти берега! Я завидовал Сибирякову, который, как я читал, из Петербурга плывет на пароходе в ледовитый океан, чтобы оттуда пробраться в устье Енисея; я жалел, что университет открыт в Томске, а не тут, в Красноярске. Много у меня было разных мыслей, и все они путались и теснились, как вода в Енисее, и мне было хорошо...

Скоро после Енисея начинается знаменитая тайга. О ней много говорили и писали, а потому от нее ждешь не того, что она может дать. Вначале как будто немного разочаровываешься. По обе стороны дороги непрерывно тянутся обыкновенные леса из сосны, лиственницы, ели и березы. Нет ни деревьев в пять охватов, ни верхушек, при взгляде на которые кружится голова; деревья нисколько не крупнее тех, которые растут в московских Сокольниках. Говорили мне, что тайга беззвучна и растительность ее не имеет запаха. Я ожидал этого, но всё время, пока я ехал по тайге, заливались птицы, жужжали насекомые; хвои, пригретые солнцем, насыщали воздух густым запахом смолы, поляны и опушка у дороги были покрыты

Из Сибири. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru  
нежно-голубыми, розовыми и желтыми цветами, которые ласкали не одно только зрение. Очевидно, писавшие о тайге наблюдали ее не весной, а летом, когда и в России леса беззвучны и не издают запаха.

Сила и очарование тайги не в деревьях-гигантах и не в гробовой тишине, а в том, что разве одни только перелетные птицы знают, где она кончается. В первые сутки не обращаешь на нее внимания; во вторые и в третьи удивляешься, а в четвертые и пятые переживаешь такое настроение, как будто никогда не выберешься из этого зеленого чудовища. Взберешься на высокий холм, покрытый лесом, глянешь вперед на восток, по направлению дороги, и видишь внизу лес, дальше холм, кудрявый от леса, за ним другой холм, такой же кудрявый, за ним третий, и так без конца; через сутки опять взглянешь с холма вперед – и опять та же картина... Впереди, все-таки знаешь, будут Ангара и Иркутск, а что за лесами, которые тянутся по сторонам дороги на север и юг, и на сколько сотен верст они тянутся, неизвестно даже ямщикам и крестьянам, родившимся в тайге. Их фантазия смелее, чем наша, но и они не решаются наобум определять размеры тайги и на ваш вопрос отвечают: «Конца нет!» Им только известно, что зимою через тайгу приезжают с далекого севера на оленях какие-то люди, чтобы купить хлеба, но что это за люди и откуда они, не знают даже старики.

Вот около сосен плетется беглый с котомкой и с котелком на спине. Какими маленькими, ничтожными представляются в сравнении с громадной тайгой его злодеяния, страдания и он сам! Пропадет он здесь в тайге, и ничего в этом не будет ни мудреного, ни ужасного, как в гибели комара. Пока нет густого населения, сильна и непобедима тайга, и фраза «Человек есть царь природы» нигде не звучит так робко и фальшиво, как здесь. Если бы, положим, все люди, которые живут теперь по сибирскому тракту, сговорились уничтожить тайгу и взялись бы для этого за топор и огонь, то повторилась бы история синицы, хотевшей зажечь море. Случается, пожар сожрет лесу верст на пять, но в общей массе пожарище едва заметно, а проходят десятки лет, и на месте выжженного леса вырастает молодой, гуще и темнее прежнего. Один ученый в бытность свою на восточном берегу нечаянно поджег лес; в одно мгновение вся видимая зеленая масса была охвачена пламенем. Потрясенный необычайной картиною, ученый назвал себя «причиною страшного бедствия». Но что значит для громадной тайги какой-нибудь десяток верст? Наверное, на месте бывшего пожара растет теперь непроходимый лес, гуляют в нем безмятежно медведи, летают рябчики, и труды ученого оставили в природе гораздо больше следа, чем напугавшее его страшное бедствие. Обычная человеческая мерка в тайге не годится.

А сколько тайн прячет в себе тайга! Вот между деревьев крадется дорога или тропинка и исчезает в лесных сумерках. Куда она ведет? В тайный ли винокурный завод, в село ли, о существовании которого не слыхал еще ни исправник, ни заседатель, или, быть может, в золотые прииски, открытые артелью бродяжек? И какую бесшабашную, обольстительную свободу веет от этой загадочной тропинки!

По рассказам ямщиков, в тайге живут медведи, волки, сохатые, соболи и дикие козы. Мужики, живущие по тракту, когда дома нет работы, целые недели проводят в тайге и стреляют там зверей. Охотничье искусство здесь очень просто: если ружье выстрелило, то слава богу, если же дало осечку, то не проси у медведя милости. Один охотник жаловался мне, что ружье у него делает по пяти осечек подряд и выстреливает только после шестого раза; идти с таким сокровищем на охоту без ножа или рогатки – большой риск. Привозные ружья здесь плохи и дороги, и потому не редкость встретить по тракту кузнецов, умеющих делать ружья. Вообще говоря, кузнецы талантливые люди, и особенно это заметно в тайге, где они не затерялись в массе других талантов. Мне по необходимости пришлось коротко познакомиться с одним кузнецом, которого ямщик рекомендовал мне так: «У-у, это большой мастер! Он даже ружья делает!» И тон, и выражение лица у ямщика живо напомнили мне наши разговоры о знаменитых художниках. У меня сломался тарантас, понадобилось починять, и по рекомендации ямщика явился ко мне на станцию худошавый, бледный человек с нервными движениями, по всем приметам талант и большой пьяница. Как хороший врач-практик, которому скучно лечить неинтересную болезнь, он мельком и нехотя оглядел мой тарантас, коротко и ясно поставил диагноз, подумал и, ни слова не сказав мне, лениво поплелся по дороге, потом оглянулся и сказал ямщику:

– Что ж? Пожалуй, вези тарантас в кузницу.

Починять тарантас помогали ему четыре плотника. Работал он небрежно, нехотя, и казалось, что железо принимало разнообразные формы помимо его воли; он часто

Из Сибири. Антон Павлович Чехов [chekhovanton.ru](http://chekhovanton.ru)  
курил, без всякой надобности рылся в куче железного мусора, глядел вверх на небо, когда я торопил его, – так ломаются артисты, когда их просят спеть или прочесть что-нибудь. Изредка, точно из кокетства или желая удивить меня и плотников, он высоко поднимал молот, сыпал во все стороны искрами и одним ударом решал какой-нибудь очень сложный и мудреный вопрос. От неуклюжего, тяжелого удара, от которого, казалось бы, должна была рассыпаться наковальня и вздрогнуть земля, легкая железная пластинка получила желаемую форму, так что и блоха не могла бы придраться. За работу получил он от меня пять с полтиной; пять взял себе, а полтинник отдал четверем плотникам. Те сказали спасибо и потащили тарантас к станции, завидуя, вероятно, таланту, который и в тайге так же знает себе цену и так же деспотичен, как и у нас в больших городах.

20-го июня.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://chekhovanton.ru/> Приятного чтения!  
<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.  
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин  
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.  
<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография  
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>  
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!